

А.П. ЧЕХОВ И КРЫМ — ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

...Над головой рывкнуло, палуба мелко задрожала, пристань медленно пошла в сторону. В маслянистой воде кружились солома, окурки, мелкий сор. Пахло канатом и углем.

Чехов, сдвинув шляпу на затылок, держался за поручень... Поднявшись на пароход «Вел. кн. Михаил», он без сожаления расставался с пыльным Севастополем. Звуки лебедки, стук, разноплеменной говор, красные, как кирпич, лица, — все утомляло, навевало скуку. Вереницы потных, опаленных, ошалелых от жары людей в протертом на плечах тряпье бегали по пружинящим сходням с мешками портландского цемента. В гавани было пусто: два-три парохода да пузатые «поповки», похожие на московских купчих.

— Вот она, бедность русского человека...

Чехов был разочарован первыми крымскими впечатлениями. Накануне, сидя у окна, в скрипучем вагоне, он вглядывался в однообразную таврическую степь. Лишь вечером, когда поезд втянулся в отроги Крымских гор, молодой писатель оживился. Залитые лунным светом горы, тополя, виноградники проплывали за окном, вызывая ощущение какой-то новой, дикой красоты, настраивали фантазию на мотив гоголевской «Страшной мести». Было жутко и приятно.

Пробыв в Севастополе менее суток, Чехов быстро понял, что главное здесь — море. Чудесное море! Годом позже с такими же мыслями садился здесь в парусную лодку Бунин: пленили его прозрачные, изумрудные волны. Антон Павлович попытался было схватить цвет, но чувствовал, что нет слов для определения бесчисленных оттенков синего и зеленого. В общем, похоже на купорос.

Чехов ехал в Феодосию. Там вил себе гнездо «генерал» — так обычно называли в своем кругу Алексея Сергеевича Суворина, крупного петербургского издателя, владельца газеты «Новое время». С 1886 года имя Чехова стало регулярно появляться в беллетристических «субботниках» газеты. Сейчас же отношения писателя с издателем «Нового времени» переживали медовый месяц. Весной, приехав на неделю в столицу, Чехов был ошеломлен суворинским гостеприимством, горячим преклонением перед его талантом. Суворин допустил своего молодого коллегу к библиотеке, где хранились редкие и запретные издания: с ошутимым волнением Чехов листал страницы «Колокола», «Полярной звезды». «Нынешние публицисты перед Герценом щенки и мальчишки», — приговаривал хозяин, спускаясь со ступенек с очередным томом.

Однажды ночью отправились в соседний дом, где помещалась типогра-

фия. Чехов был уже наслышан о суворинских нововведениях в типографском деле. Машину вращали электрические моторы. Для рабочих была открыта школа, создана касса взаимопомощи. Но Суворин вел его, кажется, не за этим. Он сердито сгреб стопку перепачканных листов со стола наборщика, перетасовал их и, выхватив один, протянул Чехову. «Путешествие из Петербурга в Москву» — значилось на титульном листе. Тут же пораженный, Чехов услышал историю о том, как Суворин задумал издать факсимильное повторение запретной книги Радищева и как «подлецы-наборщики» разобрали на листы подлинный экземпляр, с трудом отысканный в Москве...

Чехов с улыбкой вспомнил, как на другой день Суворин указал на Настю, бойкую девочку-подростка, и пресерьезным видом предложил ему... жениться. Конечно, в свое время... Антон Павлович принял это за шутку и попросил в приданое журнал «Исторический вестник» с редактором Шубинским впридачу... Суворин столь же серьезно предложил половину дохода от «Нового времени». Теперь, рассеянно поглядывая на однообразный берег, Чехов отчетливо сознавал, что его приезд в Феодосию будет понят семей Сувориных как очередной шаг к сближению.

Собственные его планы лежали совсем в другой области. Еще в усадьбе Линтваревых, куда он привез на лето свою семью, Чехов решил: никаких послаблений! К осени должны быть написаны 2—3 рассказа и лирическая комедия. План пьесы был еще неясен, название, однако, уже определилось — «Леший». Суворин только что закончил свою «Татьяну Репину» и согласился быть соавтором. Посмотрим, на что годен старый писака... Была еще одна мысль, от которой делалось на душе тепло. Вот уже второе лето Чеховы проводили на Украине, среди «широколиственной» и сочной ее природы. Недавняя поездка в Полтавскую губернию окончательно покорила Антона Павловича. Что за места! Тихие, благоухающие от свежего сена ночи, звуки далекой хохлацкой скрипки, вечерний блеск рек и прудов... Но самое главное, что привлекало молодого писателя, — это общее довольство, народное здоровье, сытость, веселый нрав мужиков. Хотелось здесь дышать, писать повести, лечить детей. Чеховы и хуторок уж присмотрели в живописной местности на реке Хорол. Нужны были деньги, хотя бы две тысячи... Суворин, правда, строится сам, но чем черт не шутит...

— А хорошо пожить на Украине! Настроили бы на берегу Хорола флигелей, и стало бы это чудесное место климатической станцией для писателей. Со временем, глядишь, целая литературная колония образовалась бы! — За бортом плескалась купоросная вода, мысли унеслись далеко, и однообразный голый берег уже не возбуждал любопытства. Чехову казалось, что красота Крыма преувеличена: ни один порядочный художник-беллетрист не вдохновится здешними пейзажами. Южный берег разрекламирован докторами да барышнями — в этом, собственно, и вся его сила. На подходе к Ялте, разглядывая в бинокль окрестности белого городка, Чехов вместо хваленых «массандров и кедров» увидел тощие кустики, больше похожие на крапиву.

— Право, долина реки Пела гораздо разнообразнее и богаче красками...

Уже в Феодосии, обобщая в письме к сестре Маше крымские впечатления, Чехов поймал себя: брюзжишь, Антон Павлович, брюзжишь... Откуда это предубеждение, это пристрастие ко всему, что попадало на глаза? Да все оттуда же: сердце тянулось назад, на Луку, к зеленым украинским просторам... Чехов вспомнил оборванную, опаленную нуждой и солнцем толпу грузчиков в Севастополе — как это контрастировало со здоровой, певучей жизнью на Украине!.. Многие и до, и после Чехова испытали это влечение... В середине 90-х годов Иван Бунин путешествовал по Днепру, записывая украинские песни, жадно искал сближения с народом. Народная жизнь — источник, который питал и будет питать истинную поэзию.

Сосед по каюте попивал дешевое вино, шуршал газетой. Чехов раскрыл крымский путеводитель. Феодосия, Феодосия... вот и Феодосия. По карте протянулась широкая дуга залива, похожего на Таганрогский. Берег расчерчен на квадратики частных владений. Наиболее богатые владельцы поименованы: Папахристо, Рубанов, Виноградов... Ага, дача Розенблюма. Тут и проживает старик Суворин с многочисленным семейством. Тут приготовлена комната и для Чехова.

Антон Павлович всматривался в названия улиц, разбросанных случайно, без какой-либо руководящей идеи. Греческая, Армянская, Итальянская... Конечно же, Дворянская. И Полицейский переулок... Все как в Таганроге. И жизнь, небось, тягучая, таганрогская... В справочном отделе путеводителя расхваливалось купание: «Удобные купальни за 50 копеек». Пароходное сообщение с Керчью, Кавказом и даже Марселем. Извозчики... Впрочем, к черту извозчиков! Будем ходить пешком!

Вечером, уже в постели, закинув руки за голову и ощущая локтем легкое подрагивание корпуса парохода, Чехов привычно потянулся к мыслям о пьесе. Главное лицо — Коровин, молодой помещик, влюбленный в природу, потому прозванный Лешим. Фигура его жила, говорила. Антон Павлович решил взяться за Лешего сам. А стариков пусть пишет Суворин, они ему ближе. Подагрик и брюзга Благоветлов... Ум положительный... Не терпит мистиков и фразеров. В Бога не верит. Главное — дело. «Дело, дело, дело» — как скучная музыкальная пьеса... Важно, чтобы без ангелов, злодеев, шутов...

Ранним утром 13 июля 1888 года Чехов сошел на феодосийский берег.

Дача доктора Сергея Петровича Розенблюма располагалась на берегу, верстах в полтора от порта. Чехова ждали: в светлой комнате на первом этаже была застлана койка, стол с письменным прибором придвинут к широкому окну. Антон Павлович вынул из саквояжа бумагу, постучал, выравнивая стопку, аккуратно положил справа. Не заботясь о вещах, спустился к морю и с наслаждением сбросил одежду. Пологое мягкое дно медленно уходило вглубь. Бывало, в Таганроге надо было пройти шагов пятьдесят, пока войдешь по груди. Чехов замер, поеживаясь от свежести, глянул вниз, в зыбкую и прозрачную зелень. Казалось, что белые ноги росли прямо из груди. Чехов засмеялся и, широко загребая, поплыл прямо к солнцу...

На берегу уже мелькали шляпы, звенели голоса, белела массивная фигура старика Суворина. Проснулись...

За завтраком, глядя на веселые загорелые лица дачников, Антон Павлович заговорил было о пьесе. Анна Ивановна засмеялась, а Суворин протестующе поднял руки:

— Помилуйте! Мы только Вас и ждали, чтобы начать экскурсию...

Через час Чехов вкусил все прелести местного экскурсионного сервиса. Ехали к богатому татарину Мурзе. Там уже собралась большая компания: художник Айвазовский, помощник военного прокурора Виноградов, он же мировой судья, местные тузы. Хозяин широким жестом пригласил к столу, накрытому в виноградной беседке. Подавали вкусные и жирные блюда, говорили тосты с кавказским акцентом.

На другой день отправились осматривать археологические древности. История «Богом данной» Феодосии уходила глубоко; переменчивое имя ее отложилось в памяти многих народов. Отголоски их наречий до сих пор звенели на прокаленных солнцем мостовых. Еще сходя с парохода, Чехов засмотрелся на зубчатый гребень широкой башни, вросшей в кромку берега.

— Что это за башня?

— Святого Константина. Женовесцы поставили, — ответил смуглый матрос.

Нетрудно было убедиться, что генуэзские корни Феодосии жили в городе матросов, в вывесках портовых кабачков, в названиях улиц и фамилиях горожан.

Экскурсионный маршрут не миновал музея древностей, который возвышался на горе Митридат. У входа палились на солнце два каменных льва, привезенных из легендарной Фанагории. На обломках тесаных плит проступали генуэзские надписи с гербами консулов. За музеем начинались голые, без признаков развалин, обожженные солнцем размытые холмы. Эта неуютная земля, изъеденная щелочью всех культур и рас, была, по меткому выражению М. Волошина, насыщена какой-то исторической тоской. Но ни древности города, ни впечатления окрестных поездов не отложились в памяти Чехова. Лишь спустя два года, в далекой Сибири, созерцая величественную панораму Байкала, писатель припомнил «феодосийский Коктебель», готические нагромождения Карадага.

Главной достопримечательностью Феодосии был, конечно, Айвазовский. Мальчиком бегал он по этим улочкам, разнося кофе, — теперь весь город носит отпечаток его «маэстризма». Есть тут и переулок Айвазовского, и фонтан его имени... Громкая слава первого художника-мариниста привлекла учеников. Пережив зенит славы, Айвазовский стал повторять себя. Злые языки утверждали, что галерея в основном была составлена из произведений, не нашедших покупателей. Чехов помнил, с какой помпой прошел в 1887-м году юбилей художника — 50 лет творческой деятельности. Лейкин, этот «маленький Щедрин», «тиснул» в «Петербургской газете» шуточную сценку «Айвазовский». Написано было не без блеска.

Чехов даже послал ее московскому врачу Корнееву, который принес газету в клинику и читал больным. Лучшее лекарство! Сам Антон Павлович к числу поклонников Айвазовского не принадлежал. Прошлой весной на Академической выставке в Петербурге видел он шесть полотен; среди них псевдозначительностью выделялся «Поход Олега на Царьград в 904 году». Каким контрастом этому отвлеченному искусству была Передвижная выставка! Теплые, родные люди, знакомые, дорогие пейзажи России. Суриков, Репин, Поленов...

— Бог на небе, а Айвазовский в Феодосии, — многозначительно сказала Анна Ивановна Суворина за обедом.

— Сегодня едем в Шейх-Мамай. Самое цветение роз, стоит посмотреть этот дивный уголок.

В загородное имение Айвазовского поехали к вечеру. Нетерпеливая «Сувориха» живописала прелести Шейх-Мамай: кипарисы, старые каштаны, мимозы, белый мрамор статуй в саду. Персидский дворец!.. Чехов, пересев напротив, разыгрывал в лицах лейкинскую сценку. Купцы сидят в трактире, читают про юбилей Айвазовского:

— Какой это Айвазовский? Чем он торгует?

— Живописец он, картины водяные пишет... Вот поставишь ты его картину к стене, а супротив его уткупустишь — утка-то в картину и лезет. Уток надувал! На воде и капитал нажил...

— В Феодосии у него большое поместье, и тоже на воде стоит. Спереди море, сбоку река, а сзади фонтаны ключевой воды бьют. Нынче он городу пятьдесят тысяч ведер воды в день подарил... Гости к нему придут — а он сейчас водой угощать...

Суворина давилась от смеха, а Антон Павлович с озабоченным видом добавлял:

— Чем-то сегодня нас Иван Константинович попотчует!

Чехов с интересом присматривался к Анне Ивановне — это явно лучшая из женщин, которых он видел в Феодосии. В ней уживались две противоположности: то поет цыганские романсы, то минутно меняет туалеты, то серьезно и умно говорит о Толстом, от которого без ума. Фантазерка, оригиналка до мозга костей. Вот и сейчас — хохочет, а вчера вечером сидела у моря и плакала... Женщина «конца века». Пройдет время, и Анна Ивановна Суворина будет ревниво отыскивать свои черты и чеховских писаний. То ли Елена Андреевна в «Лешем», то ли Анна Акимовна в «Бабьем царстве»... И эту вот поездку в Шейх-Мамай она не забудет — сама опишет, в воспоминаниях...

Приехали поздно, часам к девяти. Айвазовского дома не оказалось. Гостей повели через сад к террасе, где за большим белым столом сидела жена художника Анна Никитична. Красавица-армянка была в белом пеньюаре, с распущенными волосами: залитая лунным светом, она перебирала рассыпанные на столе розы для варенья. Айвазовская сконфузилась, бросилась переодеваться.

Дивная ночь, красавица, усыпанная розами, — эта картина прямо оше-

ломила Антона Павловича. Возвращаясь, он уверял Анну Ивановну, что они видели персидскую царевну, заколдованную волшебником Черномором.

С самим Айвазовским Чехов встречался несколько раз; целой кавалькадой нагрянули в Шейх-Мамай и пробыли там целый день. За обедом Чехов слушал его солидную, уверенную речь, приглядывался к его сложной и явно достойной внимания натуре. Было в этом бодром 75-летнем старике что-то архиерейское и в то же время наивно-стариковское. Был знаком с Белинским и Пушкиным (это возбуждало особое любопытство), но Пушкина не читал... Гости выглядели односторонне. Чехова заинтересовала, было, женщина — врач Тарновская. Послушал ее — мысленно вычеркнул из списка врачей. Очень уж невыгодно выглядела она в сравнении с феодосийским, например, врачом Лазарем Хадди: к нему, как знающему специалисту, Чехов рекомендовал потом своих знакомых.

Вечером, сев за письма, Антон Павлович перечел свой эпистолярный отчет домашним: ни строчки о картинах Айвазовского! И вообще местные достопримечательности получались стусеванными, впечатления — бледными. Почему так? Чехов поднял лицо и долгим невидящим взглядом смотрел в темноту открытого окна. Суворин... Да, конечно, Суворин. Его личность, его разговоры заслонили все.

Как-то, возвращаясь с почты, Чехов и Суворин вышли на Итальянскую улицу, застроенную двухэтажными домами с аркадами.

— А не продолжить ли нам «итальянский» разговор? — с улыбкой спросил Чехов.

Суворин недоуменно вскинул брови.

— Не помните? Малая Итальянская улица, Петербург, зима. Вы рассказывали, как вас судили за книгу «Всякие», а потом вы нашли ее у букиниста и подарили мне...

Эту историю Суворин вспоминать любил, особенно среди молодежи. Заново переживая события смутного 1866 года (студент Каракозов стрелял в царя, власти озверели, хватали по каждому пустяку), старый журналист преображался. Забывались тяготы ведения миллионного издательского дела, постоянная необходимость лавировать, изворачиваться (без этого газету не удержать), душу «обволакивало». Суворин — тогда он был настроен весьма радикально — отсидел три недели на гауптвахте, а книгу, где был описан обряд гражданской казни Чернышевского, сожгли по приговору суда. Суворину сочувствовали. Некрасов разразился стихами.

Чехов прочел книгу, и его заинтересовал странный псевдоним автора — А. Бобровский. Обычно Суворин подписывался «Незнакомцем».

— «Незнакомец», да. Но я родился под Воронежем, в Бобровском уезде.

— Вот как! Мой дед тоже из Воронежской губернии...

— Дорогой вы мой Чехов. Вы еще и не подозреваете, сколько у нас общего. Вот вы сетуете на многописание, на грошвые гонорары в мелких газетках. А какую школу литературной поденщины прошел я! Вы когда родились?

— В 1860-м.

— Ну вот, а я в это время как раз начал печататься. Одну из первых своих вещей — картинку народной жизни под названием «Аленка» — взял, было, Достоевский для журнала «Время». Как на грех, номер цензура похерила. Посвятил я эту повесть Ивану Никитину. Мы дружны были... Помню, запремся мы с ним да шепчемся: я ему пересказывал статьи из «Колокола» Герцена, из «Полярной звезды». Ими нас бобровский предводитель снабжал. Я, бывало, положу «Полярную звезду» в «Русский вестник» — держу его перед собой, а сам Герцена читаю. Смотритель уездного училища Казанский, старичок добрый и боязливый, подпрыгивал от ужаса: «Что теперь позволяют, что позволяют!»

Суворину было что вспомнить. Тогда, на рубеже 60-х годов, Россия бурлила в предчувствии падения крепостного права. Общее возбуждение захватило его, сына «потомственного дворянина» из села Коршева. Дворянство у Сувориных было анекдотичным: отец получил его, дослужившись до офицера, но семья жила по-крестьянски, в бревенчатой избе. До 14 лет Алексей Суворин не знал Пушкина, не слыхивал о театре. Да, молодость миллионера была радикальной: бывало, вместе с Слепцовым и Левитиным распевал на ночных улицах Воронежа: «Долго нас помещики душили, стальные били...»

Рассказ о «святых» шестидесятих годах увлек Чехова. Незаметно вышли на набережную. Море, обрамленное красноватой дугой залива, отливало стеклом. На рейде застыли корабли с опавшими парусами. Суворин, не замечая ничего, размахивал широкими рукавами. Припомнилась ему первая поездка в Петербург: ехал в товарном поезде, в пальто с плеч А.Н. Плещеева. Да-да, и с петрашевцем Плещеевым был дружен Суворин! В «Современнике» был опубликован суворинский рассказ «Солдат и солдатка». Сам Чернышевский беседовал с начинающим литератором!

Вот так, нанизывая бусинки фактов, имен, дат и событий, Суворин складывал мозаичную картину времени, к которому часто обращались мысли Чехова. Недели две назад, еще у Линтваревых, семья Чеховых заслушивалась рассказами старика Плещеева о деле Петрашевского, о Петропавловской крепости, о ссылке... Суворин рисовал картину времени шире, сочнее, но как-то получалось, что его имя вставало в ряд с именами Чернышевского, Некрасова, Щедрина, а то немного впереди... Суворин спохватывался. Зацепившись взглядом за парусники на рейде, вдруг спрашивал: «А вы знаете, что Гарибальди бывал в Феодосии? Плавал на кораблях юнгой. Говорят, здесь жила его тетка — колбасу по домам разносила». Но тут же сбивался на воспоминания: оказывается, есть у него рассказ о Гарибальди — еще в Воронеже написал. Мужики толкуют про подвиги революционера и опасаются набора в армию в связи с «итальянскими событиями».

Слушая Суворина, Чехов пытался понять: на каком же камне покоится сие странное здание? Получалось, что на богатом фасаде суворинская рука старательно выписывала слово «радикал». А старик, перебравшись уже в 70-е годы, рассказывал о своих дерзких газетных выходках. Однажды он придумал цикл мелочишек под рубрикой «Философский словарь». Статья

«Человек» звучала так: «Человек: в России — лакей». «Дворянство — река, впадающая в океан времени; отличается тем, что гораздо шире при своем источнике, чем при устье». О дворянстве, его историческом закате Суворин говорил часто. Ровно год назад, в Феодосии, он прочел о смерти пресловутого Каткова. Тогда же открытым текстом телеграфировал ближайшему сотруднику Скальковскому: напишите о Каткове как представителе «исчезающего направления». Многое из того, что выхватывал Чехов в бесконечном потоке говорения Суворина, было внутренне, по существу, близко молодому писателю. И как-то само собой получалось, что личность Чехова, его верования оказывались связанными с суворинской логикой, его судьбой, его жизнью.

— Вот вы предлагаете совместно писать «Лешего», — у входа в калитку дачи сказал Суворин. — А ведь мы, некоторым образом, уже давно соавторы!

— «Панихида»? — Чехов припомнил, что у его первого «нововременского» рассказа Суворин переделывал концовку. Правда, это был единственный случай редакторского вмешательства: он скоро понял, что править Чехова — только портить.

— Э, нет, милейший Антон Павлович! Припомните-ка, с какого «пустячка» начинали вы литературную карьеру. Не с «Письма ли к ученому соседу»? «Этого не может быть, потому что не может быть никогда!»

Чехов невольно улыбнулся и пожал плечами: причем здесь «Письмо к ученому соседу»? Публиковалась оно в «Стрекозе» еще в 1880 году.

— Лет за пять до вашего дебюта я, случалось, пробавлялся мелочишкой — шла она под вывеской «Золотая середина». У меня там была одна почтенная старушка — любила размышлять о Луне, как донской ваш помещик. «Желаю я знать, — что стали бы делать жители Луны, когда она идет на ущерб или увеличивается?». Не находите, что мы по одной лунной дорожке ходим?

Четверть часа спустя, садясь за обеденный стол, Суворин тронул Антона Павловича за рукав расшитой рубахи, почти серьезно произнес:

— Да, дорогой Чехов. Дорожка у нас одна.

Крупная белая рука хозяйина обвела стол, обильно уставленный дарами юга. За столом, с обожанием глядя на Чехова, уже сидела Настя — половина дохода «Нового времени». А Суворин, наклонившись, с ласковой наглинкой заглянул в глаза Чехову и произнес:

— Ну-с, чего изволите?

...О сотрудничестве писателя в «Новом времени» Суворин заговаривал часто. Говорил с видимой убежденностью, что пора от эпизодических «субботников» переходить к настоящему делу. Войдя в редакцию, Чехов встанет на крепкую материальную почву (постоянные сотрудники получали вдвое больше, чем писатель зарабатывал сейчас). Да и для литературы польза, потому что Чехов сумеет собрать вокруг себя талантливую молодежь. Для Антона Павловича это был непростой вопрос. Он был хорошо наслышан о головокружительном взлете «Нового времени». В 1876 году Суворин ку-

пил газетенку за бесценок, и через три года число подписчиков выросло в десять раз. Фельетоны Незнакомца, хлеставшие налево и направо, привлекали читателей, не шибко разбиравшихся в «направлениях». Суворин стал считаться с их запросами, и скоро газета заслужила прозвище «Чего изволите?» Но Суворин знал, что делал. При газете появилось еженедельное литературное приложение. Открылся книжный магазин. Подвернулась возможность прикупить «Исторический вестник» — журнал с репутацией и постоянным читателем. Но самой главной удачей Суворина было открытие железнодорожного контрагентства: на редкой станции не было теперь kiosка, где не предлагались бы «Новое время» и книжные издания Суворина. Все это предприимчивый журналист успел сделать, пока Чехов «протирал штаны» в гимназии и университете. Теперь «Новое время» было целой империей, доходы которой росли, как снежный ком.

— Не завести ли вам для полноты картины пароход «Новое время»? — шутя, предложил Чехов.

Издательские акции Суворина приводили молодого писателя в восхищение. Шутка сказать: выпустить к 50-летию смерти Пушкина десятитомник поэта стоимостью в полтора рубля. А тираж? 100 тысяч! Публика брала магазины штурмом. Великий человек!

Чехов много не знал о масштабах и подлинном смысле просветительской деятельности Суворина. За тридцать с небольшим лет он выпустил издания 400 авторов тиражом в 5 миллионов экземпляров. Одна «Дешевая библиотека» имела более 300 выпусков. Был тут и коммерческий расчет: у Стасюлевича, к примеру, «Горе от ума» шло по цене в 75 копеек, а Суворин предлагал за 15—20. Ясно, что покупатель шел к Суворину. Но была и тонкая, изощренная политика, о которой поведал потом постоянный суворинский адресат В.В. Розанов. Суворин ставил читателя перед выбором. Что взять: дешевого Шекспира и Шиллера — или дорогого Писарева и Бюхнера? И часто в «свободной конкуренции» материалистическая книга Бюхнера и Моллешота «Кругооборот жизни» проигрывала монархической «Истории государства Российского», которую Суворин выбрасывал на рынок по 25 копеек за том. Перебравшись из работников в «плантаторы» (чеховское словечко) Суворин, как водится, обосновал и нужду российского просвещения в таких вот издательских империях. «Теперь вместо Петра — литература, журналы», — говаривал он. Своими идеями напичкал он и комедию «Татьяна Репина». Резонер Адашев, представитель газетной братии, восклицает: «Да-с, мы — великая сила, новая порода!.. Мы предвестники новой эры, создатели общественного мнения!» Чехов помогал ставить эту пьесу в Москве и меланхолически заметил: «Где вы отыщете в природе таких ангелов...» Суворин отчетливо видел, как не хватает его делу свежего, здравомыслящего, талантливого лица. И сейчас, развивая перед своим симпатичным гостем планы роста «Нового времени», старый издатель с убедительной интонацией повторял: «Ради этого стоит жить!»

...Меж тем дни летели, и не виделось конца беспечальной жизни. Как-то вечером устроили иллюминацию: ракеты с треском рвали темный бархат

неба, дробясь на тысячи искр в зеркале залива. Сегодня с трудом поднялись в одиннадцать. Ели, пили, разговаривали. Снова ели, снова разговаривали... После обеда погрузились в коляски, поехали за город. Ели, разговаривали, слушали цыганские песни бесподобной Суворихи. И так день за днем. Суворин с утра обычно мрачный (снедали мысли о больном сыне), быстро отходил и с видимым удовольствием отдавался всеобщей лени, не забывая накачивать Чехова очередной порцией «серьезных разговоров». Решались мировые вопросы. Атмосфера сытости, довольства, сибаритства, казалось, насквозь пропитала роскошную дачу. То ли еще будет, когда Суворин отгрохает собственный дворец! Раза два все семейство забегало на стройку, где под руководством архитектора Фатина выкладывались фигурные проемы для окон, круглые башенки и другие затеи. Со стороны моря стена была выложена на манер крепостного укрепления; в бойницах башни играли блики от мелкой волны.

Суворинской даче, куда Чехов не раз приезжал в 80—90-х годах, не суждено было дожить до наших дней. Разрушила война. Поколения феодосийских мальчишек облюбовали «суворинские камни» для купания. А пока стройка шла полным ходом — и приглядывал за ней сам Айвазовский! Шумная Анна Ивановна рассаживала всех в живописные группы. Суворин-младший щелкал камерой. Старый «генерал» поглаживал седину и жаловался на безденежье: затеяли особняк и в Петербурге... Все это откладывалось и откладывалось в сознании, вырастая до вопроса: для чего, собственно, создана великая газетная империя Суворина? Для просвещения народа? Для блага Отечества? Или для этой вот сытой, довольной, полной, как чаша, жизни?

...Были на даче Виноградова, товарища морского прокурора. Суворин наклонился над тарелкой, но вдруг опустил ложку и откинулся к спинке.

— Ты помнишь, Аня, как я читал «Степь»? Сел за стол, раскрыл журнал, да так взахлеб и читал до конца. Вы опасный человек, Чехов. Среди знакомых Егорюшки я ведь и себя узнал.

— Ваша очередь впереди.

— Нет, послушайте, что там я увидел! «Русский человек любит вспоминать, но не любит жить!» Разве это не про меня?

Чехову припомнились «взрослые» размышления Егорки об окружающих людях: все они были людьми с прекрасным прошлым и очень нехорошим настоящим; о прошлом говорили с восторгом, к настоящему же относились с презрением. Пожалуй, к Суворину приложимо. Только как насчет нехорошего настоящего? Чехов помолчал и сказал:

— Плещеев написал мне, что «Степь» надо обязательно продолжать. Спрашивал о судьбе персонажей, особенно Дымова. А какая судьба у Дымова? Сопьется, в остроге пропадет. Такие натуры созданы для революции... А революции в России никогда не будет.

Прокурор встрепенулся и покраснел: к вольным беседам новых знакомых он привыкал с трудом. Чехов с Сувориным над этим частенько подтрунивали, и Антон Павлович еще долго в письмах называл Виноградова

«бедным» Костей. Прокурор потом снабжал Чехова книгами по Дальнему Востоку, а после приезда писателя с каторжного острова называл его «сахалинским другом».

— Революции в России не будет, — медленно проговорил Суворин и задумчиво постучал костяшками пальцев.

Вечером, когда стемнело, старик пригласил Антона Павловича пройти к морю. Волны чуть слышно касались пологого берега; справа, верстах в полутора, в порту светились огни кораблей. Слева, за речкой, изредка покрикивали сторожа, лениво брехала собака.

— Я давеча не продолжил разговора о революции. Вы говорите, что революции не будет, — почему вы так говорите? У вас нет жизненного опыта, вы ничего не видели... И, тем не менее, вы утверждаете, вы убеждены в этом. Мне кажется, вам подсказывает это чутье художника — я знаю, вы чувствуете правду...

Суворин вздохнул и помолчал...

— А мне этого не дано. Я пришел к такому же выводу — но каких мучений, какой крови мне это стоило!..

Чехов молчал, и Суворин монотонно, не повышая голоса, рассказывал о том перевороте, который ему пришлось пережить в 1881 году, когда народовольцы убили царя. Общественный подъем вселил было и в Суворина надежды на конституцию. Реакция подавила все. Растерянность охватила «Новое время»: газета публиковала верноподданнические статьи, а сам Суворин сжимал голову: лжешь, лжешь и даже сам не знаешь, что лгать. Мечтал уехать за границу, чтобы написать «честную книгу». Как-то встретились с Достоевским. Тот спросил: если бы случайно узнал, что сейчас взорвут Зимний дворец — пошел бы сказать полиции? «Нет, не пошел бы». «И я не пошел бы». Политический донос гнусен — это выше того, любите вы царя или конституцию. Но посмотрели бы вы на этих господ революционеров! У Кибальчича был свой дом, в доме кабак — так позволял кабатчику спаивать народ до четырех утра! А Кибальчич был симпатичней других!

— Не подумайте, что мне царя жалко, — Чехов слышал, как хрустнули пальцы Суворина. — Общество еще со времен убийства Павла в самодержавии изверилось. А теперь и в этих веры не стало... Напало на меня какое-то ожесточение — и против себя, и против других. Потом — полная апатия. Сторел, как полено дров... Ну, что ж. Так следует, такая пора пришла. Надо быть простым зрителем... Наблюдателем...

Суворин промолчал, теребя бороду.

— Аксаков потом письмо прислал. Пишет: наступили будни, нужны будничные деятели. А творцы отвлеченных доктрин и принципов — от этих «ярких личностей» один вред: массы устремляются за ними слепо, а сами не подготовлены и незрелы. Прошлое учит, что все эти волнения только мешали. Польское восстание 1863 года прямо-таки остановило реформы. Сейчас нужны люди, образование. Дело надо делать...

Раздевшись, Чехов долго лежал с открытыми глазами. Рассказ Суворина подавил его: слишком уж обнажена была язва, слишком явственно раскрылась пропасть, разделявшая душу старого газетчика. Надо быть про-

сто зрителем... Чехов еще не знал, когда и где всплывет эта нравственная коллизия, но чувствовал: все это ему потребуется. «Когда-нибудь опишу феодосийские ночи», — вспоминая откровения Суворина, думал Чехов. В 90-х годах он напишет «Рассказ неизвестного человека» — историю распада личности, разуверившейся в прежних революционных идеалах. Написет «Палату № 6» — историю социальной болезни, которую так верно сформулировал на своем примере Суворин: быть наблюдателем. Наверное, и Суворин почувствует в Рагине свое, суворинское зерно, — неслучайно в одном из писем прозвучит жесткая фраза: «Чехов сошел с ума!»

Не пройдет и полутора десятков лет, как здесь же, в Крыму, Чехов ощутит дыхание иной общественной атмосферы, заговорит о революции с иной интонацией. Пойдет искать пути в революцию юная Наденька Шумина, героиня последнего его рассказа «Невеста»... А пока, засыпая, Чехов неожиданно подумал: «А Кибальчич, небось, кабак для конспирации держал...»

...Время, казалось, остановило свой бег. Жаркие дни сменялись душными ночами, и единственным спасением было купание. Море чудесное, синее, нежное, как волосы невинной девушки... Когда погружаешься в спасительную влагу, кажется, что можно жить здесь тысячу лет и не соскучиться. Море улыбалось — ему не было дела до обожженного солнцем городка, до сонных туристов, до писателя, которого затягивала эта сытая и полная жизнь.

По утрам Антон Павлович с ненавистью смотрел на стопку бумаги, на безмятежную белизну листов. Рассказы не писались, а Суворин только махал рукой, когда Чехов заводил разговор о пьесе. Стоило ему появиться в комнате, как начиналось решение очередного мирового вопроса. «Обратился в разговорную машину», — жаловался Чехов в письмах. Разговоры, надо признать, были интересными: Суворин вращался в высоких сферах, знал массу вещей, о которых молодой писатель слышал впервые. Чехов успел изучить «разговорный прием» старого издателя и обнаружил, что тот слабо разбирался в теориях — это помогло потом отражать суворинские наскоки в спорах о роли науки, о материализме, о тенденциозности и объективности в искусстве.

Периодически возникал вопрос о «Новом времени»: Суворин планировал превратить ведущих сотрудников в пайщиков с обеспеченным доходом. Чехов, публикуясь в «нововременских» «субботниках», и так чувствовал себя словно в Калифорнии, — а тут такие перспективы! Можно представить меру искушения «сладкой жизни», которую пришлось претерпеть молодому писателю. Время уходило, разговоры и уговоры опутывали, голова под шум дремала... Чехов с ужасом думал о том, что его безмятежное ничегонеделанье обрекает семью на безденежье. Можно, конечно, взять денег у Суворина... В расчете на тесное будущее сотрудничество старик сделал широкий жест — подарил Чехову две лодки и линейку... Подспудно, неосознанно росло чувство опасности — опасности феодосийской лени, настойчивых зазываний в «Новое время». Дней через десять Чехов понял: нет, так продолжаться не может. Надо уехать!

Случай помог остановить непрерывную карусель шартрезов, крюшонов, купаний, ужинов, романсов, кейфа на берегу. Ехали в очередную

экскурсию — кажется, в Старый Крым. Вдоль симферопольской дороги шел ряд невысоких чугунных столбов.

— Индийский телеграф, — сказал гид.

Путешественники услышали, как после поражения в Крымской войне 1856 года русское правительство вынуждено было разрешить англичанам провести здесь линию телеграфа от Лондона до Калькутты. Событие отложилось в местной географии: дорога пересекала долины Сухой и Мокрый Индол. В переводе с татарского это и есть дорога в Индию.

Суворин-младший, любитель дальних вояжей, сразу загорелся. К черту Константинополь! (Была мысль совершить морское путешествие к византийским древностям). Едем по трассе индийского телеграфа! Сначала на Кавказ, потом в Персию. И Чехов, изнемогший от обязывающего безделья, сразу согласился. «Поеду туда, куда Макар телят не гонял», — писал он домой.

Проводы продолжались всю ночь: поцелуи, объятия, пожелания, излияния... Рано утром погрузились на пароход — и прощай, Феодосия! «Юнона», а потом «Дир» понесли путешественников в Керчь, потом на Кавказ, где, очарованный поэзией абхазских ущелий, Чехов окончательно позабыл рыжие холмы Феодосии. Писателю суждено было побывать здесь еще несколько раз, но имя города так и не вызвало художественных ассоциаций. Лишь однажды, прочитав хвалебные строчки суворинского письма о директоре феодосийской гимназии В.К. Виноградове, Чехов припомнил забавную историю. Этот «великий педагог», по случаю назначения на должность инспектора таганрогской гимназии, сбрил — в порыве казенного раболепия — свои роскошные усы. Эпизод потом вошел в пьесу «Три сестры», и актер Вишневский на вопрос о сбритых усах учителя Кулыгина услышал от Чехова: «А помните Виноградова?». Вишневский помнил, потому что тоже учился в Таганроге.

Феодосию заслонило многоречие Суворина, одержимого идеей приручить Чехова, а крымские красоты в восприятии молодого писателя сильно проиграли в сравнении с широкколиственной Украиной... В августе, возвратившись в Сумы, Чехов писал А.Н. Плещееву: «Полтавская губерния теплее и красивее Крыма в сто раз...». Он не предполагал, что именно Крыму суждено стать последней страницей его жизни.

Можно сожалеть, что первая встреча Чехова с Крымом не принесла литературных плодов. Феодосийский эпизод имел, однако, серьезные последствия для литературной судьбы Чехова, для определения его общественно-литературной позиции. Преодолев суворинское искушение, Чехов сохранил независимость от «Нового времени», от родственных отношений с суворинским кланом. Уже через месяц после отъезда из Феодосии Чехов писал хозяйину «Нового времени»: «...стать в газете прочно не решусь ни за какие тысячи, хоть Вы меня зарежьте». Потом пришло время и для разоблачения «откровенной» натуры Суворина, и для прямого разрыва с «Новым временем».

Ялта. 1996.

